



В. П. А В Е Н А Р И У С

5



Василий Петрович Авенариус

## Чем был для Гоголя Пушкин

В пятый том впервые издающегося Собрания сочинений популярного русского беллетриста рубежа XIX–XX веков В. П. Авенариуса вошли биографическая трилогия "Ученические годы Гоголя", литературный очерк "Чем был для Гоголя Пушкин", а также биографический очерк "Михаил Юрьевич Лермонтов".

# Содержание

I.....	.0004
II.....	.0012
III.....	.0019
IV.....	.0025
V.....	.0029
VI.....	.0033
VII.....	.0037
VIII.....	.0043
IX.....	.0049
X.....	.0055
ПРИМЕЧАНИЯ.....	.0059

"Гора с горой не сходится", — говорит по-  
 словица, и не совсем справедливо. Гени-  
 альные люди — те же горы среди прочей мел-  
 коты людской — сходятся именно благодаря  
 взаимной притягательной силе. Так сблизи-  
 лись два гения немецкой литературы — Гёте  
 и Шиллер; так сошлись гордость и слава род-  
 ной нашей словесности — Пушкин и Гоголь,  
 несмотря на большую разность лет,[1] на со-  
 вершенную разнородность натур: положи-  
 тельной и отрицательной; оба — воплощен-  
 ная жизнь; но Пушкин — вся ее красота и по-  
 эзия, Гоголь — вся ее будничная, неприкра-  
 шенная правда.

*Они сошлись. Волна и камень,  
 Стихи и проза, лед и пламень  
 Не столь различны меж собой.*

"Евгений Онегин"

До знакомства своего с Пушкиным Гоголь  
 не помышлял серьезно о писательской карье-  
 ре, хотя, подобно большинству молодых лю-  
 дей, еще на школьной скамье упражнялся в

стихах и в прозе. Семейная обстановка благоприятствовала развитию его таланта. Отец его, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, [2] сын полкового писаря, дослужившись до чина коллежского асессора, поселился в своей небольшой наследственной деревеньке Яновщине (в настоящее время — Васильевка), в 35-ти верстах от Полтавы. При скромных средствах Василий Афанасьевич был большой хлебосол и неистощимыми юмористическими рассказами умел приправлять всякое блюдо. Так Яновщина его сделалась вскоре своего рода умственным центром целого уезда. Здесь-то и происходили те сказочные "Вечера на хуторе", которые гениальный сын его перенес потом в своих повестях в Диканьку (Миргородского уезда, Полтавской губ.). Сосед и добрый приятель Гоголей, дальний родственник матери нашего писателя, Трощинский, в свое время важный сановник, скучая на покое от безделья, затеял у себя домашний театр. Ставились одни малороссийские пьесы, между прочим, и собственного сочинения главного режиссера — старика Гоголя, который в то же время исполнял также

первые роли. Сын, отданный в Нежинскую гимназию, приезжая на праздники домой, не только присутствовал на этих спектаклях, но принимал в них иногда и участие. По его же почину в Нежинской гимназии воспитанниками была разучена и разыграна трагедия Озерова — "Эдип в Афинах", после чего были даны еще многие другие пьесы. Унаследовав от отца комическую жилку, молодой Гоголь брал на себя обыкновенно роли старух, как, например, роль Простаковой в «Недоросле», и играл, говорят, очень типично.

Та же врожденная насмешливость заставила его взяться и за перо: первым литературным опытом его была стихотворная шутка на одного товарища, остриженного под гребенку и прозванного за то Расстригой Спиридоном. Затем следовали сатира на жителей г. Нежина: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", и трагедия «Разбойники». Последняя была навеяна, как надо думать, драмой Шиллера того же названия: пристрастившись к легкому чтению, Гоголь не только подбил товарищей выписывать в складчину разные журналы и сам взял на себя обязанности биб-

лиотекаря, но тратил и все свои небольшие карманные деньги на покупку книг; так выписал он себе, между прочим, из Лемберга сочинения Шиллера за 40 рублей. Прослав между товарищами «писателем», он задумал издавать и свой рукописный журнал. Назвал он его «Звездой» и ежемесячно к первому числу выпускал книжку, тщательно самим им переписанную и составленную почти исключительно из собственных его произведений. Сатирическое направление его журнала внушало товарищам его если не благоговение перед ним, то страх: все сторонились от него, потому что каждую минуту могли ожидать, что он пустит им в нос "гусара".[3] Так уже в школе он не знал братской привязанности сверстников, беззаветной юношеской дружбы, и к природным отличительным свойствам малоросса — добродушному юмору и скрытности у него прибавилась третья, отталкивающая уже черта — лицемерие. Двоедушничать, играть комедию и в действительной жизни со своими ближними доставляло ему даже тайное удовольствие.

"Я почитаюсь загадкою для всех (откровен-

ничают он в письме к матери в 1828 году); никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собою вместе с вами! Здесь меня называют смиренным, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных — умен, у других — глуп".

Из того рвения, с которым Гоголь-юноша отдался сочинительству в ущерб даже школьным занятиям,[4] можно было бы, пожалуй, заключить, что он понял уже свое истинное призвание, сознательно готовился к деятельности писателя. Но что это было не так, видно из собственных его слов. "Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государственная", — писал он матери в феврале 1827 года.

По мере приближения выпуска из гимназии нетерпение отличиться на служебном по-



прище все более в нем разгоралось.

"Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания (признавался он двоюродному брату своей матери, Петру Петровичу Косяровскому) я пламенел неугасаемою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом; быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состязания, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции; я видел, что здесь работы будет более всего; что здесь только я могу быть благодетелем, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни моей не

утерять, не сделав блага... Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много достойных. Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами... что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня..."

То же самое повторяет он в своих записках, писанных 20 лет спустя:

"...В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано — в ту пору, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писательстве мне никогда не входила в ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна: она пребывала неотлучно в моей голове, впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и

серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление".

Наконец заветная мечта его осуществилась: в 1828 году он был выпущен из гимназии с правом на чин XIV класса; оставалось только приложить свои силы к делу, стать "государственным человеком".

Зная за собою слабость — неряшливость, Николай Васильевич еще за год до выпуска принял меры, чтобы явиться взыскательным петербуржцам в возможно привлекательном виде. Одному приятелю своему (Высоцкому), молодому чиновнику, служившему в Петербурге, он дал письменно такое поручение:

"Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Мерку можешь снять с тебя, потому что мы одинакового росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного уже... Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цену за пошитье... Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне бы очень хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами; а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется".

Надо заметить, что старика Гоголя в то время не было уже в живых, и семья его, состоявшая из вдовы, одного сына и четырех до-

черей, осталась в довольно стесненных обстоятельствах. Но для своего любимца Николаши мать ничего не пожалела: отправляя его в дальнюю дорогу, она вместе с прощальным благословением отдала ему чуть ли не последние наличные гроши.

В январе 1829 года Николай Васильевич добрался до Петербурга. С первых же шагов пришлось ему несколько разочароваться.

"Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал (писал он). Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы".

Еще более ошибся он в своих расчетах на быструю чиновную карьеру. Старик Трощинский хотя и дал ему с собой рекомендательное письмо к одному петербургскому сановнику (Л. И. Кутузову), но последний был опасно болен, и молодого провинциала сперва вообще к нему не допустили. Несколько времени спустя перед ним хотя и открылись двери, но все участие сановника ограничилось любезными обещаниями.

Между тем, избалованный матерью и не привыкший стесняться в расходах, Николай

Васильевич начал испытывать все неудобства безденежья. После трех месяцев пребывания в Петербурге, нигде еще не пристроясь, он горько жаловался родным, что живет в четвертом этаже, отказывается от всяких удовольствий и "не франтит платьем, как было дома", а имеет только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня".

Так-то поневоле ему пришлось искать временного заработка хоть литературной работой. Начало предвещало успех: посланное им, без подписи, к издателю "Сына Отечества" стихотворение «Италия» было напечатано. Ободренный этим, начинающий поэт издал, уже на собственный счет, большую поэму свою "Ганс Кюхельгартен", написанную еще в 1827 году. Но, увы! никто ее не похвалил: кто просто отмалчивался, кто находил, что это — подражание Фоссовой идиллии «Луиза», а известный журналист Н. А. Полевой отделал поэму неизвестного автора так немилосердно, что тот навек закаялся писать стихи и вместе со слугой своим Якимом обежал все книжные лавки, чтобы отобрать оттуда свое злосчаст-

ное сочинение и дома сжечь его.[5]

Надо было попытаться счастья еще на одном поле, где он некогда пожинал лавры: на театральных подмостках. Но и здесь самолюбие его был нанесен жестокий удар: когда он в кабинете директора театров князя Гагарина, в присутствии двух лучших актеров — Каратыгина и Брянского, был подвергнут предварительному испытанию, на него, как назло, напала такая робость, что он прескверно прочел свою роль — и был признан не способным к театру!

Ко всем этим неудачам прибавилась еще одна — сердечная. Сердце его заговорило, едва ли не единственный раз в жизни, — и не нашло взаимности.

Оставалось одно — бежать куда глаза глядят. Он сел на пароход и укатил за границу. Но, едва ступив на немецкую почву, он сообразил, что взятых с собой денег у него не останется на дальнейшее странствие, и вернулся домой — в 4-й этаж на Мещанской.

В апреле 1830 года, наконец, Николаю Васильевичу удалось получить место помощника столоначальника в департаменте уделов.

Но каково же было ему, мечтавшему вершить судьбы своего отечества, подшивать только «дела», вести реестр «входящих» и «исходящих» бумаг! Поэт Жуковский, покровитель всех молодых литературных талантов, принял участие и в Гоголе: сначала по его рекомендации Плетнев, инспектор Патриотического института, пригласил Николая Васильевича в этот институт старшим учителем истории; а затем Плетнев, со своей стороны, отрекомендовал его наставником детей в два аристократических дома — Васильчикова и Балабина.

М. Логинов, видевший молодого Гоголя у Балабиных, в начале 1831 года, дает нам следующее характеристическое описание его наружности: "Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества: вот каков был Го-



голь в молодости".

Летом того же 1831 года молодой писатель граф Соллогуб случайно встретился в первый также раз с Гоголем в Павловске, на даче у тетки своей, Васильчиковой. От последней Соллогуб услышал, что нанятый ею для детей наставник — "охотник до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывает".

"Как теперь помню это знакомство (рассказывает граф Соллогуб). Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая притом их бляению, мычанию, хрюканию и т. п. "Вот это, душенька, баран: бе, бе... Вот это корова, знаешь: му, му". При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслышав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей мне его по имени: Ни-

колай Васильевич Гоголь".

Такое-то скромное, можно сказать, приниженное положение занимал еще тогда наш великий юморист! Но вслед за тем имя его сделалось вдруг известным всей читающей России, и первым, обратившим всеобщее внимание на замечательное новое дарование, был не кто иной, как Пушкин.

В февральской и мартовской книжках "Отечественных записок" 1830 года Гоголь поместил, без подписи, повесть свою "Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы". Она была так же мало замечена публикой и критикой, как и явившиеся после того в том же журнале, в "Литературной газете" и в "Северных цветах" некоторые незначительные статьи его, вошедшие впоследствии в «Арабески». Но к маю 1831 года у него было готово уже целое собрание законченных повестей, составивших первый том "Вечеров на хуторе близ Диканьки", и, по совету Плетнева, он решился выпустить их опять без своей подписи, под псевдонимом "пасечника Рудого Панька". Еще, однако, до выхода книги в свет Плетнев рассказал о ней приятелю своему, Пушкину, и тот пожелал видеть начинающего автора.

Лето 1831 года Пушкин, женившийся только за несколько месяцев перед тем, проводил с молодой женой на даче в Царском Селе. Там же в качестве наставника наследника престо-

ла, Александра Николаевича (впоследствии императора Александра II), жил во дворце и Жуковский. Два поэта виделись между собой ежедневно, и Жуковский, уже прежде знавший Гоголя, ввел последнего в дом своего друга-поэта. Несмотря на то что целые 10 лет разделяли хозяина и гостя (Пушкину было уже 32 года, Гоголю всего 22), великий поэт наш принял безвестного еще сотоварища по перу так просто и радушно, что мнительный, скрытный по природе Гоголь не устоял и "развернулся".

"Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе (писал он осенью приятелю своему А. С. Данилевскому). Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка», [6] в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные, — не то, что "Руслан и Людмила", но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, [7] и прелесть невообразимая!"

Издание "Вечеров на хуторе" потребовало

еще до конца лета возвращения Гоголя в Петербург; а свирепствовавшая здесь холера была причиною строгого карантина с Царским Селом, куда Николай Васильевич, таким образом, при всем желании, не мог уже попасть. Зато Пушкин, несмотря на карантин, успел как-то раз проскользнуть в Петербург, что видно из следующих, чрезвычайно характеристичных строк Гоголя к Жуковскому (от 10 сентября 1831 года):

"Насилу мог я управиться со своею книгою, и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой — для Пушкина, третий, с сантиментальною надписью, для Розетти, а остальные — тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга! Три дня я толкался из типографии в цензурный комитет, из цензурного комитета в типографию, и, наконец, теперь только перевел дух. Боже мой! Сколько бы экземпляров я отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойник, и украл этот несносный кусок

земли, эти 24 версты от Петербурга до Царского Села и с ними бы дал тягу на край света; или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их, вместо завтрака, в свой медвежий желудок! О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов ваших, возлег у ног вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тмочисленного количества ведьм, чертей и всего, любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? — что э... но вы не поверите мне, назовете меня суевером; что всему этому виною не кто другой, как враг честного креста, церковей Господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника; как дух, пронесся мимо его и во мгнове-

ние ока очутился в Петербурге, на Вознесенском проспекте, и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8 августа. И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом -

*...окны мелом*

*Забелены. Хозяйки нет.*

*А где, Бог весть. Пропал и след.[8]*

*[9]*

Какой свежий, здоровый юмор! Так и слышится будущий автор «Ревизора» и "Мертвых душ"! Но у него и было полное основание ликовать: настоящий путь его был, наконец, найден; и кто же благословил его на него? Сам Пушкин, великий Пушкин! Первый безусловно благоприятный отзыв о новой книге принадлежал перу Пушкина:

"Сейчас я прочел "Вечер близ Диканьки" (писал он в "Литературных прибавлениях к Инвалиду"). Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необычно-

венно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор (мастер) объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая эту книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору желаю сердечно дальнейших успехов".

После такой решительной похвалы из уст Пушкина, стоявшего тогда на высоте своей славы, все любители родной словесности бросились читать новую книгу. Одних с непривычки возмущала "мужицкая речь" автора, другие были увлечены, восхищены его остроумием, но все его читали, все хохотали — и книга раскупалась нарасхват.



## IV

По переезде Пушкина осенью в Петербург общение между двумя нашими писателями уже не прерывалось. Закон физики, что разнородные полюсы притягиваются, повторяется и в человеческой жизни, особенно у гениальных натур. Воплощенный поэт, Пушкин то и дело взбегал в 4-й этаж к воплощенному юмористу Гоголю, просиживал с ним целые вечера, целые ночи в оживленных беседах о занимавших их обоих предметах. Каждый из них находил в другом и поверенного, и советника в сокровенных своих планах. Но Пушкин, как зрелый уже талант, естественно, имел на своего не менее талантливое, но юного еще собеседника преобладающее влияние. Под этим-то влиянием, как видно, Гоголь еще в сентябре 1831 года писал сестре в деревню:

*"У меня есть к тебе просьба. Ты помнишь, милая, ты так хорошо было начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно*

*необходимо нужно. Еще прошу я здесь же маменьку, если попадутся где старинные костюмы малороссийские, собирать все для меня".*

Два года спустя с такою же просьбою он обращается к приятелю своему, Максимовичу:

*"Я очень обрадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании Ходаковского... Я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся у вас песни... Я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть столько песен, и, вместе с тем, не знаю. Это все равно, если б кто-нибудь перед женщиной сказал, что он знает секрет, и не объявил бы ей".*

*Кроме народной поэзии Пушкин увлекся в это время историческими материалами, и увлечение его перешло опять на Гоголя. Когда печаталась вторая часть "Вечеров на хуторе", в голове автора их слагался уже план исторической повести его "Тарас Бульба". При сравнении концепции, характеров и слога этой образцовой повести с предшествовавшими ей невольно изум-*

ляешься внезапному расцвету таланта автора. Но без Пушкина, обсуждавшего вместе с Гоголем каждую главу, чуть ли не каждую фразу, повесть, конечно, далеко не достигла бы такого совершенства.

Учителем Гоголя, редактором большей части его сочинений Пушкин был после того еще целые годы.

"Вышла вчера довольно неприятная зацепка по поводу "Записок сумасшедшего" (писал ему Гоголь в 1833 году). Я посылаю вам предисловие; сделайте милость, просмотрите, и если что, — то поправьте и перемените тут же чернилами. Я ведь, сколько вам известно, сурьезных (sic) предисловий еще не писал и потому в этом деле совершенно неопытен.

Вечно ваш Гоголь"

В следующем году, посылая Пушкину два экземпляра «Арабесок», он пишет:

"...один экземпляр для вас, а другой, разрезанный, для меня. Вы читайте мой, и, сделайте милость, возьмите карандаш в ваши руки и никак не останавливайте негодования при виде оши-

бок, но тотчас их всех налицо".  
Еще через год, сочинив, но не напечатав еще свою «Женитьбу», он просит Пушкина, уехавшего в деревню:

"Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию, которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний... Сделайте наскоро хоть сколько-нибудь главных замечаний..."

Из этих писем видно, как глубоко верил Гоголь в обширный, здравый ум, в тонкий изящный вкус Пушкина, как послушно он следовал его указаниям.

Помощь со стороны Пушкина не ограничивалась, однако, одними советами: он снабжал Гоголя и темами, соответствовавшими его сатирическому таланту.

"Сделайте милость (просил его Гоголь в октябре 1835 года), дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте милость, дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов и, клянусь, куда смешнее черта. Ради Бога: ум и желудок мой — оба голодают".

И, богач по уму и фантазии, Пушкин не оставил голодающего взывать напрасно. Еще до 1828 года Пушкин, на бегах в Москве, разговаривался как-то с одним знакомым о бывшем тут же старинном московском франте П. Знакомый Пушкина рассказал при этом случае о следующей проделке П.: тот скупил у разных лиц "мертвые души", заложил их в опекуном совете, как бы живые, и нажил таким мошенническим способом большие деньги.

— Из этого можно было бы сделать целый

роман! — сказал Пушкин, а сойдясь впоследствии с Гоголем, уступил последнему эту благодарную тему.

— Никто не умеет лучше Гоголя подметить всю пошлость русского человека, — не раз говорил он.

В 1833 году Гоголь приступил уже к началу своих "Мертвых душ".

В том же 1833 году Пушкин ездил в Оренбургскую губернию для проверки на месте разработанных им материалов к своей "Истории Пугачевского бунта". Проездом через Нижний Новгород он сделал визит тамошнему губернатору Б. Губернатор принял его очень любезно, сам же не поверил, чтобы цель поездки могла быть чисто научная, и нашел нужным секретно предупредить о том оренбургского генерал-губернатора Перовского. В Оренбурге Пушкин остановился в доме у самого Перовского. Поутру его разбудил громкий хохот. Раскрыв глаза, он увидел перед собою Перовского, который держал в руках какое-то письмо и продолжал хохотать. На вопрос Пушкина, что его так рассмешило, — Перовский прочел ему письмо:

"У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его; но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтобы вы были осторожнее..."

Легко представить себе, как потешался теперь сам Пушкин над небывалою ролью, которую приписало ему запуганное ревизиями воображение Б. Ему вспомнился бывший около того же времени другой случай в г. Устюжне (Новгородской губ.), где какой-то самозванный петербургский «ревизор» успел всполошить и обобрать местных чиновников. И вот в голове у него сложился план комедии «Ревизор». Занятый, однако, своими историческими работами, он в течение целых двух лет не удосужился приняться за новую комедию. Тут, в октябре 1835 года, к нему пришло выписанное выше письмо Гоголя, умолявшего дать ему сюжет для комедии, и великодушный поэт отдал ему и этот план свой. В своей авторской исповеди Гоголь прямо заявил, что пер-

вая мысль как для "Мертвых душ", так и для «Ревизора» принадлежит Пушкину.



## VI

По протекции Пушкина же и Жуковского Гоголю было предоставлено в 1834 году место адъюнкт-профессора в Петербургском университете по кафедре всеобщей истории. Хотя он урывками и занимался историей, особенно родной своей Малороссии, и собирался написать историю средних веков "томов из 8-ми, если не из 9-ти" (как сообщал он Максимовичу), но, при его посредственном образовании, задача оказалась ему не по силам. Только вступительная лекция, которую он, очевидно, вперед сочинил и заучил, вышла образцовая. Начиная уже со второй лекции чтение его было вяло, безжизненно и сбивчиво.

"Но вот, однажды (рассказывает один из его слушателей, Иваницкий) ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский

заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы, вслед за тремя поэтами, вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически... Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную. Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, придет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю и две... Так прошло время до мая. Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком; не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор Ш. Гоголь

сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уж тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ..."

В конце 1835 года Гоголь, действительно, окончательно бросил профессуру.

"Теперь вышел я на свежий воздух (писал он Погодину). Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну, наконец, решаюсь давать на театр..."

Ему, автору "Тараса Бульбы", «Женитьбы» и целого ряда новых повестей, поражавших своим неподдельным, совершенно оригинальным юмором, слава ученого, в самом деле, не была уже нужна: наравне с Пушкиным ему было радушно открыты двери всех столичных гостиных. Но то самое общество, которое, в лучшей своей части, так сочувственно встретило молодой, многообещающий талант, разразилось теперь взрывом негодования, когда увидело на сцене его новейшую, великую и, в полном смысле слова, классическую комедию «Ревизор»: темные стороны русской жизни были изобличены в ней слыш-

ком явно и бесцеремонно. Этими незаслуженными укорами самолюбие болезненно-нервного автора было глубоко уязвлено. Ни Пушкин, ни Белинский (известный уже в то время критик) не могли успокоить его своими искренними похвалами.

"Еду за границу (писал Гоголь 10 мая 1836 года Погодину); там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне... Частное принимать за общее, случай за правило! Выведи на сцену двух-трех плутов — тысяча честных людей сердится, говорит: мы не плуты..."

## VII

Здоровье Николая Васильевича, никогда не бывшее цветущим, за время 7-летнего пребывания его в Петербурге значительно пошатнулось. Неоднократные поездки на юг России приносили ему только временную пользу. Поэтому предпринятое им летом 1836 года путешествие за границу было ему и без того необходимо. Телесные силы его, действительно, стали опять укрепляться, а с ними вернулась и бодрость духа, проявлявшаяся в разных проказах и шутках, из которых приведем здесь одну.

"Гоголь вздумал попробовать (рассказывает С. Т. Аксаков), можно ли путешествовать в чужих краях, не имея паспорта, и выдумал следующую штуку. Когда надобно было предъявлять где-нибудь паспорта, Гоголь отбирал их от пассажиров и очень обязательно принимал на себя хлопоты представить кому следует. Собственного паспорта он не отдавал, а оставлял у себя в кармане. Когда помеченные паспорта возвращали Гоголю, он принимал их, рассматривал и вдруг воскли-

цал:

— Да где же мой паспорт? Я вам его отдал вместе с другими!

Тот, кто их записывал, совестился, извинялся, а Гоголь мастерски разыгрывал сконфуженного путешественника. Между тем надобно было ехать — и Гоголь уезжал с незаписанным паспортом".

Особенно полезно было Николаю Васильевичу пребывание в Веве, на Женевском озере. Здесь он принялся серьезно за "Мертвые души", начатые в Петербурге. Какое счастливое настроение было у него в это время, показывает следующий отрывок из письма его к бывшей его ученице, М. П. Балабиной, от 12 октября 1836 года:

"...когда я пришел к дилижансу, то увидел, к крайнему своему изумлению, что внутри кареты все было почти занято. Оставалось одно только место в середине. Сидевшие дамы и мужчины были люди очень почтенные, но несколько толсты, и потому я минуту предавался размышлению. Хотя, подумал я, мне здесь не будет холодно, если я усядусь посредине, но так как я человек сублильный и тще-

душный, то весьма может быть, что они из меня сделают лепешку, пока я доеду до Веве. — Это обстоятельство заставило меня взять место наверху кареты. Место мое было так широко и покойно, что я нашел приличным положить вместе с собою и мои ноги, за что, к величайшему моему изумлению, не взяли с меня ничего и не прибавили платы, что заставило меня думать, что мои ноги очень легки. Таким образом, поместясь лежа на карете, я начал рассматривать все бывшие по сторонам виды. Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не было такой, которая бы шла вниз, но все вверх. Это меня так изумило, что я уж и перестал смотреть на другие виды. Но более всего поразил меня гороховый фрак сидевшего со мной кондуктора. Я так углубился в размышления, отчего одна половина его была темнее, а другая светлее, что и не заметил, как доехал до Веве. Мне так понравилось мое место, что я хотел еще и больше полежать наверху кареты, но кондуктор сказал, что пора сойти, на что я сказал, что готов с большим удовольствием.

— Так пожалуйста мне вашу ручку, — ска-

зал он.

— Извольте, — отвечал я.

С кареты сходил я сначала левой ногой, а потом правую, но, к величайшему прискорбию вашему (потому что я знаю, что вы любите подробности), не помню, на которую спицу колеса я ступил ногою — на третью или на четвертую. Если хорошо припомнить все обстоятельства, то, кажется, на третью; но опять, если рассмотреть с другой стороны, то, представляется, как будто на четвертую. Впрочем, я вам советую немедленно теперь же послать за кондуктором: он, верно, должен знать; и чем скорее — тем лучше, потому что если он выспится, то позабудет.

По сошествии с кареты отправился я к набережной встречать пароход. Выгрузились три дамы, Бог знает, какого происхождения, два кельнера и три англича, с такими длинными ногами, что насилу могли выйти из лодки. Вышедши из лодки, они сказали «гопш» и пошли искать table d'hôte. Потом я пошел к себе в комнату, где сначала сидел на одном диване, потом пересел на другой, но нашел, что это все равно, — что если два рав-



ные дивана, то на них решительно сидеть одинаково.

Здесь оканчивается путешествие. Все прочее, что ни было, все было незамечательно. Как вы хотите, но ответ вы непременно должны написать мне. Если вы затрудняетесь, каким образом писать, то я вам могу дать небольшой образец. Вы можете написать в таком духе:

"Милостивый государь, почтеннейший Николай Васильевич!

Я имела честь получить почтеннейшее письмо ваше сего октября... такого-то числа. Не могу выразить вам, милостивый государь, всех чувств, которые волновали мою душу. Я проливала слезы в сердечном умилении. Где обрели *вы* высокое искусство говорить так понятно душе и сердцу? Стократ, стократ желала бы я иметь искусное перо, подобное вашему, чтобы быть в возможности изливать такими же словами признательную и растроганную благодарность".

Потом вы можете написать: "Покорная к услугам", или "Готовая к услугам", или что-нибудь подобное, и письмо, я вас уверяю, бу-

дет хорошо".

Когда в Веве настали холода, Гоголь перебрался в Париж.

"Бог простер здесь надо мною Свое покровительство и сделал чудо (писал он в ноябре из Парижа): указал мне квартиру на солнце, с печкой — и я блаженствую. Снова весел; «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наше, наши помещики, наши чиновники, наши мужики, наши избы, словом — вся православная Русь... Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь... Сообщите об этом Пушкину: авось-либо и он найдет что-нибудь с своей стороны..."

Так и на чужбине, за тридевять земель, Гоголь ощущал потребность в советах Пушкина. И вдруг — громом из ясного неба — донеслась к нему роковая весть о смерти Пушкина.

## VIII

Здоровье уходит пудами, а приходит золотниками. Исподволь накопленное Гоголем за границую здоровье было разом и навсегда подорвано этим неожиданным нравственным ударом.

"Моя утрата всех больше (писал он Погодину 30 марта 1837 года). Ты скорбишь как русский, как писатель, а я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой ("Мертвые души") есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его (т. е. труда) не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он;

угадывал, что будет нравиться ему, — и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что трудной? Что теперь жизнь моя?.."

Строки эти, вылившиеся под свежим впечатлением понесенной невознаградившей потери, составляют как бы полную авторскую исповедь, и искренность их, конечно, нельзя заподозреть. Та же безутешная скорбь прорывалась у него не раз и после, когда он вспоминал о Пушкине.

"О, Пушкин, Пушкин! (воскликает он в октябре 1837 года). Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука Промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем, и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Гляжу как иступленный на нее, и не нагляжусь до сих пор..."

В январе 1839 года, т. е. спустя уже два года по кончине Пушкина, Гоголь встретился в Риме с Жуковским.

"Свидание наше было очень трогательно (рассказывает он в письме к княжне Р.): первое имя, произнесенное нами, было — Пушкин..."

Поневоле смирившись перед неумолимой судьбою, Николай Васильевич в апреле 1839 года, хотя и спокойнее, но так же неотступно возвращается мыслями к Пушкину:

"Я должен продолжать мною начатый, большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание".

В 1840 году он действительно дописал, а в 1842 году выпустил в свет первый том своих "Мертвых душ" — и слава его как первоклассного писателя окончательно упрочилась. Второй том был у него также начат и, по уверению лиц, слышавших его в чтении, обещал не уступить первому в достоинствах. Но вдохновителя его, Пушкина, не было в живых — и вдохновение его навеки отлетело! В течение 12 лет со смерти Пушкина он вел кочевую жизнь на чужбине, то и дело переезжая из Швейцарии в Италию, из Италии в Герма-

нию, из Германии снова в Италию и нигде не находя себе покоя. Одну только зиму (1839–1840 гг.) он провел в России; но, распорядившись изданием своих сочинений, поспешил опять обратно под вечно-голубое, теплое небо Италии. Однако все напрасно! На все запросы из России о новых его авторских замыслах он отговаривался массой материала.

"Представь себе архитектора, строящего здание, которое все загромождено и заставлено у него лесом (писал он, например, Шевыреву): чего стоит ему снимать леса и показывать неоконченную работу, как будто бы кирпич вчерне и первое пришедшее в голову слово в силах рассказать о фасаде, который в голове архитектора".

Плетнев, перенявший после смерти Пушкина издание журнала «Современник», неотступно требовал у Гоголя чего-нибудь для своего журнала. Тот выслал ему, наконец, повесть «Портрет», напечатанную уже прежде в «Арабесках».

"Вы этого не пугайтесь (объяснил он); прочитайте ее: вы увидите, что осталась одна только канва прежней повести, что вышито

по ней вновь... Вы, может быть, даже увидите, что она более чем какая другая соответствует скромному направлению вашего журнала. Да, ваш журнал не должен заниматься тем, чем занимается торопящийся, шумный современный свет. Его цель другая: это — благоуханье цветов, растущих уединенно на могиле Пушкина. Рыночная толпа не должна знать к нему дороги — с нее довольно славного имени поэта; но только одни сердечные друзья должны сюда сходитья с тем, чтобы безмолвно пожать друг другу руку и предаться хоть раз в год тихому размышлению".

В 1843 году Гоголь сочинил какую-то трагедию и, будучи во Франкфурте, прочел ее жившему там Жуковскому. Но пьеса оказалась до того снотворна, что слушатель задремал. Увидев это, Николай Васильевич тут же бросил трагедию в пылавший камин.

— И хорошо, брат, сделал, — откровенно сказал ему в других случаях столь снисходительный Жуковский.

Два года после того, проезжая через Прагу, Гоголь осматривал местный национальный музей. Заведывавший этим музеем антиквар-

рий Ганка наслышался уже прежде о знаменитом русском юмористе и, узнав теперь фамилию посетителя, спросил его, не он ли автор таких-то сочинений.

— И оставьте это! — резко прервал его Гоголь.

— Ваши сочинения составляют украшение славянских литератур... — продолжал Ганка.

— Оставьте, оставьте! — повторил Гоголь, отмахиваясь рукой, и поторопился уйти из музея. Несчастный, очевидно, потерял уже веру в самого себя!



## IX

В тридцать шесть лет, т. е. в годы, когда другие люди находятся в полном расцвете телесных и умственных сил, Гоголь был уже отжившим стариком, стоял, можно сказать, одной ногой в гробу. Чаше и чаще мысли его обращались к загробной жизни. Единственное утешение находил он еще в молитве. Все написанное им казалось ему позорным, не достойным человека: он сжег второй том своих "Мертвых душ", сжег бы и все свои сочинения, если бы они в тысячах экземпляров не разошлись по России. Его занимал теперь только его собственный душевный мир, и, излив его в своих письмах к отдаленным «друзьям», он решился напечатать эту переписку, которая, по его мнению, должна была хоть несколько ослабить пагубное действие его прочих, «легкомысленных» сочинений.

Книга, действительно, быстро разошлась, но успех ее был самый убийственный: даже горячие поклонники, ближайшие «друзья» его поголовно ополчились на него.

"Есть люди, которым нужна публичная, в

виду всех данная оплеуха (жаловался он в письме к отцу Матвею 9 мая 1847 года). Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духа заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную; я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками, при одной мысли о том, как неприлично и как дерзко выразился о многом..."

Еще до выхода в свет "Переписки с друзьями" Николай Васильевич помышлял о паломничестве в Иерусалим. Теперь, когда книга его вместо похвал принесла ему одни нарекания, заветная мечта его — поклониться Гробу Господню — его уже не оставляла, и в начале 1848 года он привел ее в исполнение. Но поездка эта не дала уже ему ожидаемого обновления телом и духом. Напрасно император Николай Павлович, уважавший его талант, оказал ему крупную денежную помощь, чтобы предоставить ему работать без всяких забот о насущном хлебе; напрасно сам Николай Васильевич, можно сказать, обирал и мать свою, и «друзей», тратил на себя ежегодно тысячи, чтобы в южном климате пользоваться возможно комфортабельной обстановкой для

вдохновения, — вдохновение — увы! — не возвращалось...

По переселении Гоголя, незадолго до смерти, в Москву особенный почитатель и покровитель его граф Толстой (впоследствии обер-прокурор) отдал в его распоряжение целую половину своего дома, обставил его всеми житейскими удобствами, чтобы он мог заниматься, когда и как ему вздумается. На вопрос одного знакомого, что это он смолк — ни строки уже несколько месяцев сряду, Гоголь отвечал с грустной улыбкой:

— Да! Как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства жизни и занятий — тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа!

Затем, после некоторого молчания, он продолжал:

— Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Джансоно и Альбано в июле месяце. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, осо-

бенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том "Мертвых душ", и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать мне столик, уселся в угол, достал портфель и, под громом катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душевной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением. А вот теперь никто кругом меня не стучит, и не жарко, и не дымно...

Вечно угрюмый, нелюдимый и донельзя мнительный, он пробуждался из охватившей его полной апатии только изредка, когда удавалось навести его на разговор о призвании писателя и о чистом искусстве или же упростить его прочесть что-нибудь вслух из собственных его произведений. Так, в октябре 1851 года Тургенев имел случай присутствовать при чтении им "Ревизора".

"Он принялся читать (рассказывает Тургенев) — и понемногу оживился. Щеки покры-

лись легкой краской; глаза расширились и просветлели. Читал Гоголь превосходно... Диккенс, также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его — драматическое, почти театральное... Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что они думают. Кажется, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный, особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело... С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего о двух крысах: "Пришли, понюхали и пошли прочь!" — он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого

удивительного происшествия... Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половины первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо, улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился, с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: "Ведь я велел тебе никого не впускать!" Молодой литератор слегка пошевелился на стуле, а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды и снова принялся читать; но уже это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы — и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка".

# Х

Наступил 1852 год. Прошло 12 лет со времени окончания Гоголем первой части "Мертвых душ" — и из-под пера его не вышло ничего, достойного прежнего, великого художника, если не считать 2-й части тех же "Мертвых душ", о которой мы можем судить только по случайно уцелевшим и дошедшим до нас пяти главам в черновом виде.

В феврале 1852 года, совершенно уже больной, Гоголь попросил к себе своего хозяина, графа Толстого, и вручил ему перевязанную шнурком пачку тетрадей, заключавших в себе 11 вновь написанных глав 2-й части "Мертвых душ", со словами:

— Я скоро умру, свези, пожалуйста, это к митрополиту Филарету и попроси его прочитать, а потом, согласно его замечаниям, напечатай.

Толстой, чтобы ободрить упавшего духом больного, отказался взять драгоценную рукопись.

— Помилуй! — сказал он. — Ты так здоров, что, может быть, завтра или послезавтра сам

свезешь это к Филарету и выслушаешь от него замечания лично.

Между тем к другому утру 2-й части "Мертвых душ", в окончательном их виде, уже не существовало. По рассказу слуги Гоголя, Семена, барин разбудил его ночью, приказал затопить печь и сунул всю связку тетрадей в огонь. Семен будто бы хотел помешать ему, на коленях умолял его не жечь этих бумаг; но барин, видя, что плотно связанные тетради не хотят хорошенько разгореться, достал их из печи кочергой, развязал и затем с каким-то ожесточением стал бросать в пылающее пламя тетрадь за тетрадью, пока все они не обратились в пепел...

21 февраля 1852 года Гоголь испустил последний вздох. Хоронили его из университетской церкви и до самого кладбища в Данилов монастырь, т. е. верст 6–7, несли гроб на руках; вся образованная Москва шла следом за ним.

Друзья гениального юмориста давно примирись с мыслью, что ему духовно уже не воскреснуть, и потому их поразила не столько смерть его, сколько истребление им своего



последнего произведения.

"Умереть Гоголю вдруг нельзя (писал С. Т. Аксаков); тело его предано земле, но дух вошел в нашу жизнь, особенно в жизнь молодого поколения... Но Гоголь сжег "Мертвые души" — вот страшные слова! Безотрадная грусть обнимает сердце при мысли, что Гоголь не досказал своего слова, что погиб плод десятилетних вдохновенных трудов..."

Князь Вяземский как на главные причины разительной перемены, происшедшей с Гоголем со смертью Пушкина, указывает на недостаток его школьного образования, несоответственного с богатством и "неутомимую жажду" его дарования.

"Друзья и поклонники задушили его лаврами, которыми закидали его; с другой стороны, недоброжелатели и противники чуть не забросали его камнями. Это не пугало его, но смущало, а вероятно, и раздражало его. Он слушался Жуковского и Пушкина, но не хотел бы огорчить и Белинского и школу его... В путанице суждений о нем бедный Гоголь сам запутался... Будь Пушкин еще жив, не будь Жуковский за границею по болезни своей и же-

ны — и Гоголь, вероятно, под этою дружескою охраною, лучше и миролюбивее устроил бы участь свою, литературную и житейскую. При них как они довольствовались мирным совершением подвига своего, так и он довольствовался бы дарованием, которое дал ему Бог, не гоняясь за призраками какой-то далекой славы, которою точно будто дразнили его слишком усердные поклонники..."

К приведенному отзыву такого ценителя, как князь Вяземский, мы позволим себе только прибавить от себя: со смертью Пушкина Гоголь, несмотря на всю свою оригинальность и гениальность, не нашел уже своего прежнего вдохновения, потому что потерял в Пушкине своего высшего руководителя, вдохновителя, доброго гения и для литературы умер вместе с ним.

# ПРИМЕЧАНИЯ

*Печатается по: Авенариус В. П. Васильки и колосья: Очерки и рассказы для юношества. СПб., 1895 (изд. 2-е).*

**С.** 484. ... подражание Фоссовой идиллии "Луиза"... — Иоганн Генрих Фосс (1751–1826) — немецкий поэт, автор сентиментальных поэм и идиллий (в том числе и «Луизы», очевидно, вдохновившей Гоголя).

...известный журналист Н. А. Полевой (1796–1846) — прозаик, драматург, историк; издатель журнала "Московский телеграф". Автор исследования "История русского народа". Полевой не только гоголевского "Ганса Кюхельгартена" "отделал немилосердно", но и "Мертвые души" ему пришлись не по душе. "Оставьте в покое вашу вьюгу вдохновения, — написал он Гоголю, — поучитесь русскому языку, да рассказывайте ваши сказочки об Иване Ивановиче, коляске и носе и не пишите такой чепухи, как "Мертвые души"".

**С.** 485. Плетнев Петр Александрович (1792–1862) — поэт, критик. С 1832 г. — про-

фессор русской словесности в Петербургском университете, а с 1840 — его ректор. Дружил с Пушкиным и Гоголем. По поручению Гоголя издал его книгу "Выбранные места из переписки с друзьями".

*М. Логинов, видевший молодого Гоголя у Балабиных...* — Очевидно, имеется в виду Михаил Николаевич Лонгинов (1823–1875), домашним учителем которого был Гоголь. Лонгинов — библиограф, мемуарист, критик; автор очерка "Воспоминание о Гоголе" (1854). *Балабины* — семья, в которой Гоголь, по рекомендации Плетнева, также давал уроки Марье Петровне, дочери Петра Ивановича Балабина, отставного генерала жандармерии.

С. 486. ...*молодой писатель граф Соллогуб* Владимир Александрович (1813–1882) — прозаик, автор знаменитого романа «Тарантас» (1845) и воспоминаний о Пушкине и Гоголе.

С. 489. *Мольер и Филдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков.* — Жан Батист Поклен, писавший под псевдонимом *Мольер* (1622–1673), — великий создатель жанра так называемой высокой комедии, о которой Пушкин сказал: "...высокая комедия

не основана единственно на смехе, но на развитии характеров... нередко близко подходит к трагедии". Генри *Филдинг* (1707–1754) — английский классик, автор знаменитых комедий, а также комических романов "История приключений Джозефа Эндруса", "История Тома Джонса, найденыша" и др.

С. 492. ...*как сообщал он Максимовичу.* — Михаил Александрович *Максимович* (1804–1873) — выдающийся этнограф, историк, ботаник. С Гоголем дружил с 1832 г.

С. 493. ...*писал... Погдину.* — Михаил Петрович *Погдин* (1800–1875) — историк, археолог; издатель журналов "Московский вестник" (1827–1830) и «Москвитянин» (1841–1856). Собрал уникальную коллекцию письменных и вещественных памятников русской старины. С Гоголем дружил (то и дело ссорясь) с 1838 г.

С. 494. ...*рассказывает С. Т. Аксаков* (1791–1859) — известный прозаик, автор мемуаров "История моего знакомства с Гоголем".

С. 500. ... *покровитель его граф Толстой* Александр Петрович (1801–1873) — один из

близких друзей Гоголя в его последние годы жизни. С 1856 по 1862 г. был обер-прокурором Синода.

С. 501. ...*рассказывает Тургенев...* — Двух русских классиков — Гоголя и Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) познакомил 20 октября 1851 г. гениальный актер Михаил Семенович Щепкин (1788–1863). Об этой встрече и о чтении Гоголем «Ревизора» Тургенев позже рассказал в своем мемуарном цикле "Литературные и житейские воспоминания" (1869).

С. 503. ...*князь Вяземский Петр Андреевич* (1792–1878) — поэт и критик; друг Пушкина, но с Гоголем, однако, близок не был, хотя и написал две острые статьи в защиту его «Ревизора» и "Выбранных мест из переписки с друзьями".

# Note1

Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г., Гоголь — 20 марта (1 апреля) 1809 г.

[^^^]

## Note2

{\* Вторая половина фамилии — Яновский — была опущена уже сыном-Гоголем. В письме к матери из Петербурга от 6 февраля 1832 г. он с обычным своим остроумием пишет:

"В предотвращение подобных беспорядков, впредь прошу вас адресовать мне просто: «Гоголю», потому что кончик моей фамилии, я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит как свою собственность".}

[^^^]



## Note3

В "Мертвых душах" Гоголь сравнивает положение одуроченных Чичиковым жителей города NN с положением школьника, "которому, сонному, товарищи, вставшие пораньше, засунули в нос гусара, т. е. бумажку, наполненную табаком. Потянув впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит как дурак, выпучив глаза, во все стороны и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкой, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, — и потом уже, наконец, чувствует, что в носу у него сидит гусар".

[^^^]

## Note4

{\* Вот несколько отрывков из журнала, веденного надзирателями Нежинского гимназического пансиона:

*"13-го декабря. (Такие-то и) Яновский за дурные слова стояли в углу. Того же числа. Яновский за неопрятность стоял в углу. 19-го декабря. П-ча и Яновского за леность без обеда и в угол, пока не выучат свои уроки.*

*Того же числа. Яновского за упрямство и леность особенную — без чаю. 20-го декабря. (Такие-то и) Яновский — на хлеб и на воду во время обеда Того же числа. Н. Яновский, за то что он занимался во время класса священника с игрушками, был без чаю".}*

[^^^]

## Note5

Кроме единственного экземпляра в Императорской Публичной библиотеке уцелели до сих пор в частных руках только четыре экземпляра поэмы.

[^^^]

# Note6

"Домик в Коломне".

[^^^]

# Note7

"Сказка о купце Кузьме Остолопе".

[^^^]

# Note8

\* \* \*

[^^^]

# Note9

\* Из "Евгения Онегина".

[^^^]